

О первой любви. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

О первой любви. Максим Горький

...Тогда же, судьба, – в целях воспитания моего, – заставила меня пережить трагикомические волнения первой любви.

Компания знакомых собралась кататься на лодках по Оке, мне поручили пригласить на прогулку супругов К. – они недавно приехали из Франции, но я еще не был знаком с ними. Я пошел к ним вечером.

Жили они в подвале старого дома, против него, не просыхая всю весну и почти все лето, распростерлась во всю ширину улицы грязная лужа; вороны и собаки пользовались ею как зеркалом, свиньи брали в ней ванны.

Находясь в состоянии некоторой задумчивости, я ввалился в квартиру незнакомых мне людей подобно камню, скатившемуся с горы, и вызвал странное смятение обитателей ее. Предо мною, заткнув дверь в следующую комнату, сумрачно встал толстый, среднего роста человек, с русской окладистой бородой и добрым взглядом голубых глаз.

Оправляя костюм, он неласково спросил:

– Что вам угодно?

И поучительно добавил:

– Раньше, чем войти, – нужно стучать в дверь!

За его спиной, в сумраке комнаты, металось и трепетало что-то, похожее на большую белую птицу, и прозвучал звонкий, веселый голос:

– Особенно, – если входите к женатым людям...

Я сердито спросил: те ли они люди, кого мне нужно? И когда человек, похожий на благополучного лавочника, ответил утвердительно, – объяснил ему, зачем я пришел.

– Вас прислал Кларк, говорите? – солидно и задумчиво поглаживая бороду, осведомился мужчина и в ту же минуту вздрогнул, повернулся волчком, болезненно восклицая:

– Ой, Ольга!

По судорожному движению его руки мне показалось, что его ущипнули за ту часть тела, о которой не принято говорить, – очевидно, потому, что она помещается несколько ниже спины.

Держась за косяки, на его место встала стройная девушка, с улыбкой рассматривая меня синеватыми глазами.

– Вы – кто? Полицейский?

– Нет, это только штаны, – вежливо ответил я, а она засмеялась.

Не обидно, ибо в глазах ее сияла именно та улыбка, которую я давно ожидал. Видимо – смех ее был вызван моим костюмом; на мне были синие шаровары городского, а вместо рубахи, я носил белую куртку повара; – это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки. Чужие охотничьи сапоги и широкая шляпа итальянского бандита великолепно завершали мой костюм.

Втащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила, стоя предо мной:

– Почему вы так смешно одеты?

– Почему – смешно?

О первой любви. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

- Не сердитесь, - дружески посоветовала она.

Очень странная девушка, - кто может сердиться на нее?

Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросы. Я спросил, указав глазами на него:

- Это - отец или брат?

- Муж! - убежденно ответил он.

- А что? - смеясь, спросила она.

Подумав, рассматривая ее, я сказал:

- Извините!

В таком лаконическом тоне беседа продолжалась минут пять, но я чувствовал себя способным неподвижно сидеть в этом подвале пять часов, дней, лет, глядя на узкое, овальное личико дамы и в ее ласковые глаза. Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки. Очень красивы руки ее, когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча. Одета она как-то особенно просто - в белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней - ее синеватые глаза: они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством. И - это несомненно! - она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека двадцати лет от роду, сердцу, обиженному грубостью жизни.

- Сейчас хлынет дождь, - сообщил ее муж, окуривая бороду свою дымом папиросы.

Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорались звезды. Тогда я понял, что мешаю этому человеку, и ушел в настроении тихой радости, как после встречи с тем, чего давно уже и тайно от себя искал.

Всю ночь ходил по полю, бережно любясь ласковым сиянием синеватых глаз, и на рассвете был непоколебимо убежден, что эта маленькая дама совершенно неподходящая супруга для бородатого увальня с добрыми глазами сытого кота. Мне даже жалко стало ее - бедная! Жить с человеком, у которого в бороде прячутся хлебные крошки...

А на другой день мы катались по мутной Оке, под крутым берегом из широких пластов разноцветных мергелей. День был самый лучший от сотворения мира, изумительно сверкало солнце в празднично-ярком небе, над рекою носился запах созревшей земляники, все люди вспомнили, что они действительно прекрасные люди, и это насытило меня веселой любовью к ним. Даже муж дамы моего сердца оказался замечательным человеком - он сел не в ту лодку, где сидела его жена и где я был гребцом, - весь день он вел себя идеально умно, - сначала рассказал всем страшно много интересного о старике Гладстоне, а потом выпил крынку превосходного молока, лег под куст и вплоть до вечера спал спокойным сном ребенка.

Разумеется, наша лодка приехала первой на место пикника; когда я на руках выносил мою даму с лодки, она сказала:

- Какой вы силач!

Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню города, и сообщил даме, что могу нести ее на руках до города - семь верст 1. Она тихонько засмеялась, обласкала меня взглядом, весь день передо мною сияли ее глаза, и, конечно, я убедился, что они сияют только для меня.

Дальше все пошло с быстротой, вполне естественной для женщины, которая впервые встретила невиданного ею интересного зверя, и для здорового юноши, которому необходима ласка женщины.

Вскоре я узнал, что она, несмотря на свою внешность девушки, старше меня на десять лет, воспитывалась в Белостокском институте "благородных девиц", была

О первой любви. Максим Горький gorkiyamaxim.ru
невестой коменданта Зимнего дворца, жила в Париже, училась живописи и выучилась акушерству. Далее оказалось, что ее мать тоже акушерка и принимала меня в час моего рождения, – в этом факте я усмотрел некое предопределение и страшно обрадовался.

Знакомство с богемой и эмигрантами, связь с одним из них, затем полукочевая, полуголодная жизнь в подвалах и на чердаках Парижа, Петербурга, Вены, – все это сделало институтку человеком забавно спутанным, на редкость интересным. Легкая, бойкая, точно синица, она смотрела на жизнь и людей с острым любопытством умного подростка, задорно распевала французские песенки, красиво курила папиросы, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела ловко шить платья, делать шляпы. Акушерством она не занималась.

– У меня было четыре случая практики, но они дали семьдесят пять процентов смертности, – говорила она.

Это оттолкнуло ее навсегда от косвенной помощи делу умножения людей, о ее прямом участии в этом деле свидетельствовала дочь ее, – милый и красивый ребенок лет четырех. О себе она рассказывала тем тоном, каким говорят о человеке, когда его хорошо знают и он уже достаточно надоел. Но иногда она как-будто удивлялась, говоря о себе, ее глаза красиво темнели и светились, в них мелькала легкая улыбка смущения, – так улыбаются сконфуженные дети.

Я хорошо чувствовал ее острый, цепкий ум, понимал, что она культурно выше меня, видел ее добросердечно-снисходительное отношение к людям; она была несравненно интереснее всех знакомых барышень и дам; небрежный тон ее рассказов удивлял меня, и мне казалось: этот человек, зная все, что знают мои революционно-настроенные знакомые, знает что-то сверх этого, что-то более ценное, но – она смотрит на все издали, со стороны, наблюдая, с улыбкой взрослого, пережитые им милые, хотя порою опасные забавы детей.

Подвал, в котором она жила, делился на две комнаты: маленькую кухню она же служила и прихожей – и большую комнату в три окна на улицу, два – на сорный грязный двор. Это было удобное помещение для мастерской сапожника, но не для изящной маленькой женщины, которая жила в Париже, в священном доме Великой революции, в городе Мольера, Бомарше, Гюго и других ярких людей. Было еще много несоответствий картины с рамой, – все они жестоко раздражали меня, вызывая – кроме прочих чувств – сострадание к женщине. Но сама она как бы не замечала ничего, что – на мой взгляд – должно было оскорблять ее.

С утра до вечера она работала, утром – за кухарку и горничную, потом садилась за большой стол под окнами и весь день рисовала карандашом – с фотографии – портреты обывателей, чертила карты, раскрашивала картограммы, помогала составлять мужу земские сборники по статистике. Из открытого окна на голову ей и на стол сыпалась пыль улицы, по бумагам скользили толстые тени ног прохожих. Работая, она пела, а утомясь сидеть – вальсировала со стулом или играла с девочкой и, несмотря на обилие грязной работы, всегда была чистоплотна, точно кошка.

Ее супруг был благодушен и ленив. Он любил читать – лежа в постели переводные романы, особенно Дюма-отца. – Это освежает клетки мозга, говорил он. Ему нравилось рассматривать жизнь "с точки зрения строго научной". Обед он называл приемом пищи, а пообедав, говорил:

– Подвоз пищевой кашицы из желудка клеткам организма требует абсолютного покоя.

И, забыв вытряхнуть крошки хлеба из бороды, ложился в постель, несколько минут углубленно читал Дюма или Ксавье де-Монтепена, а потом часа два лирически посвистывал носом, светлые мягкие усы его тихо шевелились, как-будто в них ползало нечто невидимое. Проснувшись, он долго и задумчиво смотрел на трещины потолка и – вдруг вспоминал:

– А ведь Кузьма неправильно истолковал вчера мысль Парнеля.

И шел уличать Кузьму, говоря жене:

– Ты, пожалуйста, докончи за меня подсчет безлошадных Майданской волости. Я – скоро!

Возвращался он около полуночи, иногда – позднее, очень довольный.

– Ну, знаешь, доканал я сегодня Кузьму! У него, шельмеца, память на цитаты очень развита, но я ему и в этом не уступлю. Между прочим, он совершенно не понимает восточной политики Гладстона, чудак!

Он постоянно говорил о Бинэ, Рише и гигиене мозга, а в дурную погоду, оставаясь дома, занимался воспитанием девочки его жены.

– Леля, – когда ты кушаешь, нужно тщательно жевать, это облегчает пищеварение, помогая желудку быстрее претворить пищевую кашу в удобоусвояемый конгломерат химических веществ.

После же обеда, приведя себя "в состояние абсолютного покоя", укладывал ребенка на постель и рассказывал ему:

– Итак, – когда кровожадный честолюбец Бонапарте узурпировал власть...

Жена его судорожно, до слез хохотала, слушая эти лекции, но он не сердился на нее, не имея для этого времени, ибо скоро засыпал. Девочка, поиграв его шелковой бородой, тоже засыпала, свернувшись комочком. Я очень подружился с ней, она слушала мои рассказы с большим интересом, чем лекции Болеслава о кровожадном узурпаторе и печальной любви к нему Жозефины Богарнэ, – это возбудило у Болеслава забавное чувство ревности:

– Я – протестую, Пешков! Сначала ребенку необходимо внушить основные принципы отношения к действительности, а потом уже знакомить с ней. Если б вы знали английский язык и могли прочитать "Гигиену души ребенка"...

Он знал по-английски, кажется, только два слова: гуд бай.

Он был вдвое старше меня, но обладал любопытством юного пуделя, любил посплетничать и показать себя человеком, которому хорошо известны все тайны не только русских, но и зарубежных революционных кружков. Впрочем, возможно, что он и на самом деле был осведомлен, – к нему нередко приезжали таинственные люди, они все держались как актеры-трагики, которым случайно пришлось играть роли простаков. У него я видел нелегального Сабунаева в рыжем, неумело надетом парике, в пестром костюме, который был смешно узок и короток ему.

А однажды, придя к Болеславу, я увидел у него юркого человечка с маленькой головкой, очень похожего на парикмахера, – он был одет в клетчатые брючки, серенький пиджачок и скрипучие ботинки. Вытеснив меня в кухню, Болеслав шопотом сказал:

– Это человек из Парижа, с важным поручением, ему необходимо видеть Короленко, так вы идите, устройте это...

Я пошел, – но оказалось, что Короленко показали приезжего на улице, и В. Г. проницательно заявил:

– Нет, пожалуйста, не знакомьте меня с этим хлыщом!

Болеслав обиделся за парижанина и "дело революции", два дня сочинял письмо Короленко, испробовал все стили, от гневного и сурового до ласкового-укоряющего, и потом сжег образцы эпистолярной литературы своей на шестке печи. Вскоре начались аресты в Москве, Нижнем, Владимире, и оказалось, что человек в клетчатых брючках – знаменитый, впоследствии, Ландезен-Гартинг, первый – по порядку – провокатор, которого я видел.

А за всем этим муж возлюбленной моей был добрый малый, несколько сентиментальный и комически обремененный "научным багажом". Он так и говорил:

– Смысл жизни интеллигента – непрерывное накопление научного багажа в целях бескорыстного распределения его в толщах народной массы.

Моя любовь, углубляясь, превращалась в страдание. Сидел я в подвале, глядя, как, согнувшись над столом, работает дама моего сердца, и мрачно пьянел от желания

О первой любви. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
взять ее на руки, унести куда-то из проклятого подвала, загроможденного широкой двухспальной кроватью, старинным тяжелым диваном, где спала девочка, столами, на которых лежали груды пыльных книг и бумаг. Мимо окон нелепо мелькают чьи-то ноги, иногда в окно заглядывала морда бездомной собаки; душно, с улицы льется запах грязи, нагретой солнцем, маленькая девичья фигурка, тихонько напевая, скрипит карандашом или пером, мне ласково улыбаются милые васильковые глаза. Я люблю эту женщину до бреда, до безумия и жалею ее до злобной тоски.

- Расскажите еще что-нибудь про себя, - предлагает она.

Рассказываю, но через несколько минут она говорит:

- Это вы не про себя говорите.

Я и сам понимаю, что все, о чем я говорил, еще - не я, а нечто, в чем я слепо запутался. Мне нужно найти себя в пестрой путанице впечатлений и приключений, пережитых мною, но я не умел и боялся сделать это. Кто и что я? Меня очень смущал этот вопрос. Я был зол на жизнь, - она уже внушила мне унижительную глупость попытки самоубийства. Я не понимал людей, их жизнь казалась мне неоправданной, глупой, грязной. Во мне бродило изощренное любопытство человека, которому зачем-то необходимо заглянуть во все темные уголки бытия, в глубину всех тайн жизни, и, порою, я чувствовал себя способным на преступление из любопытства, - готов был убить, только для того, чтобы знать: что же будет со мною потом?

Мне казалось, что если я найду себя, - перед женщиной сердца моего встанет человек отвратительный, запутанный густой крепкой сетью каких-то странных чувств и мыслей, бредовой, кошмарный человек, он испугает ее и оттолкнет. Мне нужно было что-то сделать с собою. Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души, и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости.

И небрежный тон, которым она говорила о себе, и ее снисходительное отношение к людям внушили мне уверенность, что этот человек знает необыкновенное. У нее есть свой ключ ко всем загадкам жизни, от этого она всегда веселая, всегда уверена в себе. Может быть, я любил ее всего больше за то, чего не понимал в ней, но я любил ее со всей силой и страстью юности. Мучительно трудно было мне сдерживать эту страсть, - она уже физически сжигала и обессиливала меня. Для меня было бы лучше, будь я проще, грубее, но - я верил, что отношения к женщине не ограничиваются тем актом физиологического слияния, который я знал в его нищенски-грубой, животной-простой форме, - этот акт внушал мне почти отвращение, несмотря на то, что я был сильный, довольно чувственный юноша и обладал легко возбудимым воображением.

Не понимаю, как могла сложиться и жить во мне эта романтическая мечта, но я был непоколебимо уверен, что за тем, что известно мне, есть нечто неведомое, и в нем скрыт высокий, тайный смысл общения с женщиной, что-то великое, радостное и даже страшное таится за первым объятием, - испытав эту радость, человек совершенно перерождается.

Мне кажется, - я вынес эти фантазии не из романов, прочитанных мною, но воспитал и развил их из чувства противоречия действительности, ибо:

"Я в мир пришел, чтобы не соглашаться".

Кроме этого у меня было странное, смутное воспоминание:

- Где-то - за пределами действительного и когда-то в раннем детстве, я испытал некий сильный взрыв души, сладостный трепет ощущения - вернее предчувствие - гармонии, пережил радость, светлейшую солнца на утре, на восходе его. Может быть, это было еще в те дни, когда я жил во чреве матери, и этот счастливый взрыв ее нервной энергии передался мне жарким толчком, который создал душу мою и впервые зажег ее к жизни, может быть, это потрясающий момент счастья матери моей отразился во мне на всю мою жизнь трепетным ожиданием необыкновенного от женщины.

О первой любви. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Когда не знаешь – выдумываешь, и самое умное, чего достиг человек, это – уметь любить женщину, поклоняться ее красоте, – от любви к женщине родилось все прекрасное на земле.

Однажды, купаясь, я прыгнул с кормы баржи в воду, ударился грудью о наякорник, зацепился ногою за канат, повис в воде вниз головой и захлебнулся. Ломовой извозчик вытащил меня, откачали, изорвав мне всю кожу, у меня пошла кровь, и я должен был лечь в постель, глотая лед.

Ко мне пришла моя дама, села на койку и, расспрашивая, как все это случилось со мною, стала гладить мне голову, легкой милой рукой, а глаза ее, потемнев, смотрели тревожно.

Я спросил: видит ли она, что я люблю ее?

– Да, – сказала она, улыбаясь осторожно, – вижу и, это очень плохо, хотя я тоже полюбила вас.

Разумеется, после ее слов вся земля вздрогнула, и деревья в саду закружились веселым хороводом. Я онемел от неожиданности, изумления и восторга, ткнулся головою в колени ей и, если бы не обнял ее крепко, то наверное вылетел бы в окно, как мыльный пузырь.

– Не двигайтесь, это вредно вам, – строго заметила она, пытаясь переложить мою голову на подушку. – И не волнуйтесь, а то я уйду. Вы, вообще, очень безумный господин, я не думала, что такие бывают. О наших чувствах и отношениях мы поговорим, когда вы встанете на ноги.

Все это она говорила очень спокойно и невыразимо ласково улыбалась потемневшими глазами. Она скоро ушла, оставив меня в радужном огне надежд, в счастливой уверенности, что теперь с ее доброй помощью я окрыленно вознесусь в сферу иных чувств и мыслей.

Через несколько дней я сидел в поле на краю оврага, – внизу, в кустарнике, шелестел ветер. Серое небо грозило дождем, – деловито серыми словами женщина говорила о разнице наших лет, о том, что мне нужно учиться и что преждевременно для меня вешать на шею себе жену с ребенком. Все это было угнетающе верно, говорилось тоном матери и еще более возбуждало любовь, уважение к милой женщине. Мне было грустно и сладко слушать ее голос, нежные ее слова, – впервые со мною говорили так.

Я смотрел в пасть оврага, где кусты, колеблемые ветром, текли зеленой рекой, и клятвенно обещал себе заплатить этому человеку за ласку его всеми силами моей души.

– Прежде чем решить что-либо, нам нужно хорошо подумать, – слышал я тихий голос. Она стегала себя по колену сорванной веткой орешника, глядя в сторону города, спрятанного в зеленых холмах садов.

– И, конечно, я должна поговорить с Болеславом, – он уже кое-что чувствует и ведет себя очень нервно. А я не люблю драм.

Все было очень грустно и очень хорошо, – но оказалось необходимым нечто пошленькое и смешное.

Шаровары мои были широки в поясе, и я скалывал пояс большой медной булавкой, дюйма три длиной, – теперь нет таких булавок к счастью влюбленных бедняков. Острый кончик проклятой булавки все время деликатно царапал кожу мне, – неосторожное движение – и вся булавка впилась в мой бок. Я сумел незаметно вытащить ее и с ужасом почувствовал, что из глубокой царапины обильно потекла кровь, смачивая шаровары. Нижнего белья у меня не было, а курточка повара – коротенькая, по пояс. Как я встану и пойду в мокрых шароварах, приклеенных к телу?

Понимая комизм случая, глубоко возмущенный его обидной формой, я, в диком возбуждении, начал говорить что-то неестественным голосом актера, который забыл свою роль.

О первой любви. Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Послушав несколько минут мою речь, сначала – внимательно, потом – с явным недоумением, она сказала:

– Какие пышные слова! Вы вдруг стали не похожи на себя.

Это окончательно поразило меня, и я замолчал, как удивленный.

– Пора итти, собирается дождь.

– Я останусь здесь.

– Почему?

Что я мог ответить ей?

– Вы рассердились на меня? – ласково заглянув в лицо мое, спросила она.

– О, нет! На себя.

– И на себя не надо сердиться, – посоветовала женщина, встав на ноги.

А я – не мог встать, сидя в теплой луже, – мне казалось, что кровь моя, вытекающая из бока, журчит ручьем, – в следующую секунду женщина услышит этот звук и спросит:

– Что это?

– Уйди! – мысленно молил я ее.

Она милостиво подарила мне еще несколько ласковых слов и пошла вдоль оврага, по краю его, мило покачиваясь на стройных ножках. Я следил, как ее гибкая фигурка, удаляясь, уменьшается, и потом лег на землю, опрокинутый ударом сознания, что моя первая любовь будет несчастлива.

Конечно, так и случилось: ее супруг пролил широкий поток слез, сентиментальных слюней, жалких слов, и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток.

– Он такой беспомощный. А вы – сильный! – со слезами на глазах сказала она. – Он говорит: если ты уйдешь от меня, – я погибну, как цветок без солнца.

Я расхохотался, вспомнив коротенькие ножки, женские бедра, круглый, арбузиком, живот цветка. В бороде его жили мухи, – там всегда была пища для них.

Она, улыбаясь, заметила:

– Да, это смешно сказано, а все-таки, ему очень больно.

– Мне – тоже.

– О, вы молодой, вы сильный...

Тут, кажется, впервые я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтобы поддержать бесплодное существование осужденных на гибель.

Вскоре, полубольной, в состоянии, близком безумию, я ушел из города и почти два года шатался по дорогам России, как перекасти-поле. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, пережил неисчислимо много различных впечатлений, приключений, огрубел, обозлился еще более, и все-таки сохранил нетленно в душе милый образ этой женщины, хотя видел лучших и умнейших ее.

А когда, через два слишком года, осенью, в Тифлисе, мне сказали, что она приехала из Парижа и, узнав, что я живу в одном городе с нею, обрадовалась, я, двадцатитрехлетний крепкий юноша, первый раз в жизни упал в обморок.

О первой любви. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Я не решился пойти к ней, но вскоре она сама, через знакомых, пригласила меня.

Мне показалось, что она еще красивее и милее. Все та же фигура девушки, тот же нежный румянец щек и ласковое сияние васильковых глаз. Муж ее остался во Франции, с нею была только дочь, бойкая и грациозная, точно козленок.

Когда я пришел к ней, – над городом с громом и молниями понеслась буря, загудел ливень, по улице, с горы св. Давида, стремительно катилась мощная река, выворачивая камни улицы. Вой ветра, сердитый плеск воды, грохот каких-то разрушений сотрясал дом, дребезжали стекла в окнах, комната наливалась синим огнем и как будто все кругом падало в бездонную мокрую пропасть.

Испуганная девочка зарылась в постель, а мы стояли у окна, ослепляемые взрывами неба и говорили – почему-то – шопотом.

– Впервые вижу такую грозу, – шелестели рядом со мною слова любимой женщины.

И вдруг она спросила:

– Ну, что же? – вылечились вы от любви ко мне?

– Нет.

Она видимо удивилась и все так же шопотом сказала:

– Боже мой! как изменились вы! Совершенно другой человек.

Медленно опустилась в кресло у окна, вздрогнула, зажмурилась, ослепленная жутким блеском молнии, и шепчет:

– О вас много говорят здесь. Зачем вы пришли сюда? Расскажите мне, как вам жилось?

Господи, какая она маленькая и хорошая вся!

Я рассказывал ей до полуночи, как бы исповедуясь. Грозные явления природы всегда действуют на меня возбуждающе хорошо – в этом убеждало меня ее внимание и напряженный взгляд широко раскрытых глаз. Лишь иногда она шептала:

– Это ужасно!

Уходя, я заметил, что она простилась со мною без той покровительственной улыбки старшего, которая – в прошлом – всегда немножко обижала меня. Шел я по мокрым улицам, глядя, как острый серп луны режет изорванные облака, и у меня кружилась голова от радости. На другой день я послал ей почтой стихи, – она впоследствии часто декламировала их, и они укрепились в памяти моей:

Сударыня!

За ласку, за нежный взгляд

Отдается в рабство ловкий фокусник,

Которому тонко известно

Забавное искусство

Создавать маленькие радости

Из пустяков, из ничего!

Возьмите веселого раба!

Может быть, из маленьких радостей

Он создает большое счастье,

Разве кто-то не создал весь мир

Из ничтожных пылинок материй?

О, да! Мир создан не весело:

Скупы и жалки радости его!

Но все-таки в нем есть не мало забавного,

Например: Ваш покорный слуга,

И - есть в нем нечто прекрасное

Это я говорю о Вас!

Вы!

Но - молчание!

Что значат тупые гвозди слов

В сравнении с вашим сердцем

Лучшим из всех цветов

Бедной цветами земли?

Конечно, это едва ли стихи, но это было сделано с веселой искренностью.

Вот я снова сижу против человека, который кажется мне лучшим в мире и поэтому - необходимым для меня. На ней - голубое платье; не скрывая изящных очертаний ее фигуры, оно окутало ее мягким, душистым облаком. Играя кистями пояса, она говорит мне необыкновенные слова - я слежу за движением ее маленьких пальцев с розовыми ногтями и чувствую себя скрипкой, которую любовно настраивает искусный музыкант. Мне хочется умереть, хочется как-то вдохнуть в душу себе эту женщину, чтоб навсегда осталась там. Тело мое поет в томительном напряжении, сильном до боли, и мне кажется, что у меня сейчас взорвется сердце.

Я прочитал ей мой первый рассказ, только что напечатанный, - но не помню, как она оценила его, - кажется, она удивилась:

- Вот как, вы начали писать прозу!

Как сквозь сон откуда-то издали я слышу:

- Много думала я о вас эти годы. Неужели это из-за меня пришлось вам испытать так много тяжелого?

Я говорю ей что-то о том, что в мире, где живет она, нет ничего тяжелого и страшного.

- Какой вы милый...

Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные нелепые тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою перед нею, и, качаясь под буйными толчками сердца, бормочу:

- Живите со мной! пожалуйста, живите со мной!

Она смеется тихонько и - смущенно. Ослепительно светятся ее милые глаза. Она уходит в угол комнаты и говорит оттуда:

- Сделаем так: вы уезжайте в Нижний, а я останусь здесь, подумаю и напишу вам...

Почтительно кланяюсь ей, как это сделал герой какого-то романа, прочитанного мною, и ухожу. По воздуху.

Зимой она, с дочерью, приехала ко мне в Нижний.

"Бедному жениться – и ночь коротка", насмешливо-печально говорит мудрость народа. Я проверил личным опытом глубокую правду этой пословицы.

Мы сняли за два рубля в месяц особняк, – старую баню в саду попа. Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячек был не совсем пригоден для семейной жизни, – он промерзал в углах и по полам. Ночами, работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверху ее – ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверхъестественно при моем здоровье и выносливости, которыми я в ту пору обладал и хвастался.

В бане было теплее, но когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников. Девочка, изящная фарфоровая куколка с чудесными глазами, нервничала, у нее болела голова.

А весной баню начали во множестве посещать пауки и мокрицы, – мать и дочь до судорог боялись их, и я часами должен был убивать насекомых резиновой галошей. Маленькие окна густо заросли кустами бузины и одичавшей малины, в комнате всегда было сумрачно, а пьяный капризный поп не позволял мне выкорчевать или хотя бы подрезать кусты.

Разумеется, можно бы найти более удобное жилище, но мы задолжали попу, и я очень нравился ему, – он не выпускал нас.

– Привыкнете! – говорил он. – А то, заплатите долгишки и поезжайте хоша бы к англичанам.

Он не любил англичан, утверждая:

– Это нация ленивая, она ничего не выдумала, кроме пасьянсов, и не умеет воевать.

Был он человецище огромный, с круглым красным лицом и широкой рыжей бородой, пьянствовал так, что уже не мог служить в церкви, и – до слез страдал от любви к маленькой остроносой и черной швейке, похожей на галку.

Рассказывая мне о коварствах ее, он смахивал ладонью слезы с бороды и говорил:

– Понимаю, – негодяйка она, но напоминает мне великомученицу Фемииаму, и за то – люблю!

Я внимательно просмотрел святцы, – святой такого имени не было в них.

Возмущаясь моим неверием, он сотрясал душу мою такими доводами в пользу веры:

– Вы, сынок, взгляните на это практически: неверов – десятки, верующих же – миллионы. А – почему? Потому, что как рыба сия не может существовать без воды, так ровно и душа не живет вне церкви. Доказательно? Посему выпьем!

– Я не пью, у меня ревматизм.

Вонзив вилку в кусок селедки, он угрожающе поднимал ее вверх и говорил:

– И это – от неверия.

Мне было мучительно, до бессонницы стыдно пред женщиной за эту баню, за частую невозможность купить мяса на обед, игрушку девочке, за всю эту проклятую, ироническую нищету. Нищета – порок, который меня лично не смущал и не терзал, но для маленькой изящной институтки и, особенно, для дочери ее – эта жизнь была унижительна, убийственна.

По ночам, сидя в своем углу за столом, переписывая прошения, апелляционные и кассационные жалобы, сочиняя рассказы, я скрипел зубами и проклинал себя, людей, судьбу, любовь.

Женщина держалась великодушно, точно мать, когда она не хочет, чтобы сын видел, как трудно ей. Ни одной жалобы не сорвалось с ее губ на эту подлую жизнь; чем

О первой любви. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
труднее слагались условия жизни, тем бодрей звучал ее голос, веселее – смех. С утра до вечера она рисовала портреты попов, их усопших жен, чертила карты уездов, – за эти карты земство получило на какой-то выставке золотую медаль. А когда иссякли заказы на портреты, – она делала из лоскутов разных материй, соломы и проволоки самые модные парижские шляпы для девиц и дам нашей улицы. Я ничего не понимал в женских шляпах, но, очевидно, в них скрывалось что-то уморительно-комическое, – мастерица, примеряя перед зеркалом сделанный ею фантастический головной убор, задыхалась в судорожном смехе. Но я заметил, что эти шляпы странно влияют на заказчиц, – украсив головы свои пестрыми гнездами для кур, они ходили по улицам, как-то особенно гордо выпячивая животы.

Я работал у адвоката и писал рассказы для местной газеты по две копейки за строку. Вечерами, за чаем, – если у нас не было гостей, – моя супруга интересно рассказывала мне о том, как царь Александр II посещал Белостокский институт, оделял благородных девиц конфетами, от них некоторые девицы чудесным образом беременели, и не редко та или иная красивая девушка исчезала, уезжая на охоту с царем в Беловежскую пушу, а потом выходила замуж в Петербурге.

Моя жена увлекательно рассказывала мне о Париже; я уже знал его по книгам, особенно по солидному труду Максима дю-Кан, она изучала Париж по кабачкам Монмартра и суматошной жизни Латинского квартала. Эти рассказы возбуждали меня сильнее вина, и я сочинял какие-то гимны женщине, чувствуя, что именно силою любви к ней сотворена вся красота жизни.

Больше всего нравились мне и увлекали меня рассказы о романах, пережитых ей самой, – она говорила об этом удивительно интересно, с откровенностью, которая – порою – сильно смущала меня. Посмеиваясь, легкими словами, точно штрихи тонко заостренного карандаша, она вычерчивала комическую фигуру генерала Ребиндер, ее жениха, который, выстрелив в зубра прежде царя, закричал вслед раненому быку:

– Простите, Ваше Императорское Величество!

Рассказывала она о русских эмигрантах, и всегда в словах ее я чувствовал скрытую улыбку снисхождения к людям. Порою ее искренность нисходила до наивного цинизма, она вкусно облизывала губы острым, розовым языком кошки, а глаза ее блестели как-то особенно. Иногда мне казалось, что в них сверкает огонек брезгливости, но чаще я видел ее девочкой, самозабвенно играющей с куклами.

Однажды она сказала:

– Влюбленный русский всегда несколько многословен и тяжел, а не редко противен красноречием. Красиво любить умеют только французы; для них любовь – почти религия.

После этого я невольно стал относиться к ней сдержаннее и бережливей.

О женщинах Франции она говорила:

– У них не всегда найдешь страстную нежность сердца, но они прекрасно заменяют ее веселой, тонко разработанной чувственностью, – любовь для них искусство.

Все это она говорила очень серьезно, поучающим тоном. Это были не совсем те знания, в которых я нуждался, но – все-таки это были знания, и я слушал ее с жадностью.

– Между русскими и француженками, вероятно, такая же разница, как между фруктами и фруктовыми конфетами, – сказала она однажды лунной ночью, сидя в беседке сада.

Сама она была конфеткой. Ее страшно удивило, когда, в первые дни нашей супружеской жизни, я, – разумеется, вдохновенно, – изложил ей мои взгляды романтика на отношения мужчины и женщины.

– Это вы – серьезно? Вы действительно так думаете? – спросила она, лежа на руках у меня, в голубоватом свете луны.

Розовое тело ее казалось прозрачным, от него исходил хмельный, горьковатый запах миндаля. Ее тоненькие пальчики задумчиво играли гривой моих волос, она смотрела

О первой любви. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
в лицо мне широко, тревожно раскрытыми глазами и улыбалась недоверчиво.

- А, Боже мой! - воскликнула она, прыгнув на пол и стала задумчиво шагать по комнате из света в тень, сияя в луче луны атласом кожи, бесшумно касаясь пола босыми ногами. И, снова подойдя ко мне, глядя ладонями щеки мои, сказала тоном матери:

- Вам нужно было начать жизнь с девушкой, - да, да! А не со мною...

Когда же я взял ее на руки, она заплакала, тихонько говоря:

- Вы чувствуете, как я люблю вас, да? Мне никогда не удавалось испытать столько радости, сколько я испытываю с вами, - это правда, поверьте! Никогда я не любила так нежно и ласково, с таким легким сердцем. Мне удивительно хорошо с вами, но - все-таки, - я говорю: мы ошиблись, - я не то, что нужно вам, не то! Это я ошиблась.

Не понимая ее, я был испуган ее словами и торопливо погасил ее настроение радостью ласк. Но все-таки эти странные слова остались в памяти моей. А спустя несколько дней, она, в слезах восторга, снова тоскливо повторила эти слова:

- Ах, если б я была девушкой!

Помню, в эту ночь по саду металась вьюга, в стекла окон стучали ветви бузины, в трубе волком выл ветер, в комнате у нас было темно, холодно и шелестели отклеившиеся обои.

Заработав несколько рублей, мы приглашали знакомых и устраивали великолепные ужины, - ели мясо, пили водку и пиво, ели пирожное и вообще наслаждались. Моя парижанка, обладая прекрасным аппетитом, любила русскую кухню: "сычуг" - коровий желудок, начиненный гречневой кашей и гусиным салом, пироги с рыбьими жирами и соминой, картофельный суп с бараниной.

Она организовала орден "жадныхеньких животиков", - десяток людей, которые, любя сытно поесть и хорошо выпить, эстетически тонко знали и красноречиво, неумолимо говорили о вкусных тайнах кухни, а я интересовался тайнами иного характера, ел мало, и процесс насыщения не увлекал меня, оставаясь вне моих эстетических потребностей.

- Это - пустые люди! - говорил я о "жадныхеньких животиках".

- Как всякий, если его хорошенько встряхнуть, - отвечала она. - Гейне сказал: "Все мы ходим голыми под нашим платьем".

Цитат скептического тона она знала много. Но - мне казалось - не всегда она удачно и уместно пользовалась ими.

Ей очень нравилось "встряхивать" ближних мужского пола, и она делала это весьма легко. Неугомонно веселая, остроумная, гибкая, как змея, она, быстро зажигая вокруг себя шумное оживление, возбуждала эмоции не очень высокого качества.

Достаточно было человеку побеседовать с нею несколько минут, и у него краснели уши, потом они становились лиловыми, глаза, томно увлажняясь, смотрели на нее взглядом козла на капусту.

- Магнитная женщина! - восхищался некий заместитель нотариуса, неудачник-дворянин, с бородавками Дмитрия Самозванца и животом объема церковной главы.

Белобрысый ярославский лицеист сочинял ей стихи, - всегда дактилем. Мне они казались отвратительными, она - хохотала над ними до слез.

- Зачем ты возбуждаешь их? - спрашивал я.

- Это так же интересно, как удить окуней. Это называется - кокетство. Нет ни одной женщины, уважающей себя, которая не любила бы кокетничать.

Иногда она спрашивала, улыбаясь, заглядывая в глаза мне:

- Ревнуешь?

Нет, я не ревновал, но – все это немножко мешало мне жить, – я не любил пошлых людей. Я был веселым человеком и знал, что смех – прекраснейшее свойство людей. Я считал клоунов цирка, юмористов открытых сцен и комиков театра бездарными людьми, уверенно чувствуя, что сам я мог бы смешить лучше их. И не редко мне удавалось заставлять наших гостей смеяться до боли в боках.

- Боже мой, – восхищалась она, – каким удивительным комиком мог бы ты быть! Иди на сцену, иди!

Сама она с успехом играла в любительских спектаклях, ее приглашали на сцену серьезные антрепренеры.

- Я люблю сцену, но – боюсь кулис, – говорила она.

Она была правдива в желаниях, мыслях и словах.

- Ты слишком много философствуешь, – поучала она меня. – Жизнь, в сущности, проста и груба; не нужно усложнять ее поисками какого-то особенного смысла в ней, нужно только научиться смягчать ее грубость. Больше этого – не достигнешь ничего.

В ее философии я чувствовал избыток гинекологии, и мне казалось, что Евангелием ей служит "Курс акушерства".

Она сама рассказывала мне, как ошеломила ее какая-то научная книга, впервые которую прочитала она после института.

- Наивная девченка, я почувствовала удар кирпичем по голове; мне показалось, что меня сбросили с облаков в грязь, я плакала от жалости к тому, во что уже не могла верить, но скоро ощутила под собою, хотя жестокою, а – твердую почву. Всего более жалко было Бога, я так хорошо, близко чувствовала его, и – вдруг он рассеялся, точно дым папиросы, и вместе с ним исчезла мечта о небесном блаженстве любви. А все мы, в институте, так много думали, так хорошо говорили о любви.

Плохо действовал на меня ее институтско-парижский нигилизм. Бывало ночью, встав из-за стола, я шел посмотреть на нее, – в постели она казалась еще меньше, изящнее, красивее, – смотрел – и с великой горечью думал о ее надломленной душе, запутанной жизни. И жалость к ней усиливала мою любовь.

Литературные вкусы наши непримиримо расходились: я с восторгом читал Бальзака, Флобера, ей больше нравились Поль Феваль, Октав Фейлье, Поль де-Кок и, особенно – "Девушка Жиро, моя супруга", – эту книгу она считала самой остроумной, мне же она казалась скучной, как "Уложение о наказаниях". Несмотря на все это, наши отношения сложились очень хорошо, – мы не теряли интереса друг к другу, и не гасла страсть. Но на третий год совместной жизни я стал замечать в душе у меня что-то зловеще поскрипывает и – все звучнее, заметней. Я непрерывно, жадно учился, читал и – начал серьезно увлекаться литературной работой; мне все более мешали гости, – люди мало интересные, они количественно разрастались, ибо я и жена стали зарабатывать больше и могли чаще устраивать обеды и ужины.

Ей жизнь казалась чем-то вроде паноптикума, а так как на мужчинах не было предостерегающей надписи: "просят ручками не трогать", то – иногда она подходила к ним слишком неосторожно, они оценивали ее любопытство чересчур выгодно для себя, и на этой почве возникали недоразумения, которые я принужден был разрешать. Я делал это порою недостаточно сдержанно и вероятно – всегда очень неумело; человек, которому я натрепал уши, жаловался на меня:

- Ну, хорошо, сознаюсь, я виноват! Но – драть меня за уши, – да что я, – мальчишка, что ли? Я почти вдвое старше этого дикаря, а он меня – за уши треплет! Ну, ударил бы, все-таки это приличнее!

Очевидно – я не обладал искусством наказывать ближнего, в меру его самоуважения.

К моим рассказам жена относилась довольно равнодушно, но это несколько не

О первой любви. Максим Горький gorkiyamaxim.ru
задевало меня – до некоторой поры: я сам тогда еще не верил, что могу быть серьезным литератором, и смотрел на мою работу в газете только как на средство к жизни, хотя уже нередко испытывал приливы горячей волны какого-то странного самозабвения. Но, однажды утром, когда я читал ей в ночь написанный рассказ "Старуха Изергиль", она крепко уснула. В первую минуту это не обидело меня, я только перестал читать и задумался, глядя на нее.

Склонив на спинку дряхлого дивана маленькую, милую мне голову, приоткрыв рот, она дышала ровно и спокойно, как ребенок. Сквозь ветви бузины в окно смотрело утреннее солнце, золотые пятна, точно какие-то воздушные цветы, лежали на груди и коленях женщины.

Я встал и тихонько вышел в сад, испытывая боль глубокого укола обиды, угнетенный сомнением в моих силах.

За все дни, прожитые мною, я видел женщин только в тяжелом, рабском труде, в грязи, в разврате, в нищете или в полумертвой, самодовольной пошлой сытости. Было у меня только одно прекрасное впечатление детства – "Королева Марго", но от него отделял меня целый горный хребет иных впечатлений. Мне думалось, что история жизни Изергиль должна нравиться женщинам, способна возбудить в них жажду свободы, красоты. И – вот, самая близкая мне не тронута моим рассказом, – спит.

Почему? Не достаточно звучен колокол, отлитый жизнью в моей груди?

Эта женщина была принята сердцем моим вместо матери. Я ожидал и верил, что она способна напоить меня пьяным медом, возбуждающим творческие силы, ждал, что ее влияние смягчит грубость, привитую мне на путях жизни.

Это было тридцать лет тому назад, и я вспоминаю об этом с улыбкой в душе. Но тогда неоспоримое право человека спать, когда ему хочется, – очень огорчило меня.

Я верил: если говорить о грустном весело, печаль исчезнет.

И я подозревал, что в мире действует хитроумно некто, кому приятно любоваться страданиями людей; мне казалось, что существует некий дух, творец житейских драм, и ловко портит жизнь; – я считал невидимого драматурга личным моим врагом и старался не поддаваться его уловкам.

Помню, когда я прочитал в книге Ольденбурга "Будда, его жизнь, учение и община": "Всякое существование – суть страдание", это глубоко возмутило меня, – я не очень много испытал радостей жизни, но горькие муки ее казались мне случайностью, а не законом. Внимательно прочитав солидный труд архиепископа Хрисанфа "Религия Востока", я еще более возмущенно почувствовал, что учения о мире, основанные на страхе, унынии, страдании совершенно неприемлемы для меня. И, тяжело пережив настроение религиозного экстаза, я был оскорблен бесплодностью этого настроения. Отвращение к страданию вызывало у меня органическую ненависть ко всяким драмам, и я не плохо научился превращать их в смешные водевили.

Конечно, можно бы не говорить все это для того только, чтобы сказать: между мною и женщиной назревала "семейная драма", но оба мы дружно сопротивлялись развитию ее. Я немного пофилософствовал потому, что мне захотелось упомянуть о забавных извилинах пути, которым я шел на поиски самого себя.

Моя женщина – по веселой природе своей – тоже была неспособна к драматической игре дома, – к игре, которой так любят увлекаться чрезмерно "психологические" русские люди обоего пола.

Но – унылые дактили белобрысого лицеиста все-таки действовали на нее, как осенний дождь. Круглым, красивым почерком он тщательно исписывал листочки почтовой бумаги и тайно совал их всюду – в книги, в шляпу, в сахарницу. Находя эти аккуратные сложенные листочки, я подавал их жене, говоря:

– Примите сию очередную попытку уязвить сердце ваше.

Вначале бумажные стрелы Купидона не действовали на нее, она читала мне длинные стихи, и мы единодушно хохотали, встречая памятные строки:

О первой любви. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Днями, ночами – я с вами вдвоем,

Все отражается в сердце моем:

Ручки движенье, кивок головы,

Горлинкой нежной воркуете вы,

Ястребом – мысленно – вьюсь я над вами.

Но, однажды, прочитав такой доклад лицеиста, она задумчиво сказала:

– А мне его жалко!

Помню, – я пожалел не его, а она с этой минуты перестала читать дактили вслух.

Поэт, коренастый парень, старше меня года на четыре, был молчалив, очень пристрастен к спиртным напиткам и замечательно усидчив. Придя в праздник к обеду в два часа дня, он мог неподвижно и немо сидеть до двух часов ночи. Он был, как и я, письмоводителем адвоката, весьма изумлял своего добродушного патрона рассеянностью, к работе относился небрежно и часто говорил сипловатым басом:

– Вообще, – все это ерунда!

– А что же не ерунда?

– Как вам сказать? – спрашивал он задумчиво, поднимая к потолку серые, скучные глаза, и – не говорил ничего больше. Он был как-то особенно тяжело и словно напоказ – скучен, это более всего раздражало меня. Напивался он медленно; пьяный иронически фыркал носом, – кроме этого, я ничего особенного не замечал в нем, ибо – существует закон, по силе которого, с точки зрения мужа, человек, ухаживающий за его женой, всегда плохой человек.

Откуда-то с Украины богатый родственник присылал лицеисту по пятьдесят рублей в месяц; – большие деньги в то время. По праздникам лицеист приносил жене моей конфеты, а в день ее именин подарил ей часы-будильник, бронзовый пень, а на нем сова терзает ужа.

Эта отвратительная машина всегда будила меня на час и семь минут раньше, чем следовало.

Жена, перестав кокетничать с лицеистом, начала относиться к нему с нежностью женщины, которая чувствует себя виновной в нарушении душевного равновесия мужчины. Я спросил, чем, по ее мнению, должна закончиться эта грустная история?

– Не знаю, – ответила она. – У меня нет определенного чувства к нему, но – мне хочется встряхнуть его. В нем заснуло что-то, и, кажется, я могла бы его разбудить.

Я знал, что она говорит правду, – ей всех и каждого хотелось разбудить, в этом она очень легко достигала успеха: разбудит ближнего – и в нем проснется скот. Я напоминал ей о Цирцее, но это не укрощало ее стремления "встряхивать" мужчин, и я видел, как вокруг меня постепенно разрастается стадо баранов, быков и свиней.

Знакомые великодушно рассказывали мне потрясающие мрачные легенды о семейном быте моем, а я был прямодушен, груб и предупреждал творцов легенд:

– Я буду бить вас.

Некоторые – лживо оправдывались, обижались – немногие и не очень. А женщина говорила мне:

– Поверь, грубостью ничего не достигнешь, только еще хуже станут говорить. Ведь ты – не ревнуешь?

Да, я был слишком молод и уверен в себе, для того, чтобы ревновать. Но – есть чувства, мысли и догадки, о которых говоришь только любимой женщине и не скажешь никому больше. Есть такой час общения с женщиной, когда становишься чужим самому

О первой любви. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
себе и открываешь себя пред нею, как верующий пред Богом своим. Когда я представлял себе, что все это – очень и только мое она в интимную минуту может рассказать кому-то другому, мне становилось тяжело, я чувствовал возможность чего-то очень похожего на предательство: может быть, это опасение и является корнем ревности?

Я чувствовал, что такая жизнь может вывихнуть меня с пути, которым я иду. Я уже начинал думать, что иного места в жизни, кроме литературы, – нет для меня. В этих условиях невозможно было работать.

От крупных скандалов меня удерживало то, что на ходу жизни я выучился относиться к людям терпимо, не теряя, однако, ни душевного интереса, ни уважения к ним. Я уже и тогда видел, что все люди более или менее грешны перед неведомым богом совершенной правды, а перед человеком особенно грешат признанные праведники. Праведники – убудки от соития порока с добродетелью, и соитие это не является насилием порока над добродетелью – или наоборот, но естественный результат их законного брака, в котором ироническая необходимость играет роль попа. Брак же есть таинство, силою которого две яркие противоположности, – соединяясь, – рождает почти всегда унылую посредственность. В ту пору мне нравились парадоксы, – как мороженое маленькому мальчику – острота их возбуждала меня, как хорошее вино, и парадоксальность слов всегда сглаживала грубые обидные парадоксы фактов.

– Мне кажется, будет лучше, если я уеду, – сказал я жене.

Подумав, она согласилась:

– Да, ты прав! Эта жизнь – не по тебе, я понимаю!

Мы оба немножко и молча погрустили, крепко обняв друг друга, и я уехал из города, а вскоре уехала и она, поступив на сцену. Так кончилась история моей первой любви, – хорошая история, несмотря на ее плохой конец.

Недавно моя первая женщина умерла.

В похвалу ей скажу: это была настоящая женщина!

Она умела жить тем, что есть, но каждый день для нее был кануном праздника, она всегда ждала, что завтра на земле расцветут новые, необыкновенные цветы, откуда-то придут необычно интересные люди, разыграются удивительные события.

Относясь к невзгодам жизни насмешливо, полупрезрительно, она отмахивалась от них, точно от комаров, и всегда в душе ее трепетала готовность радостно удивиться. Но это уже не наивные восхищения институтки, а здоровая радость человека, которому нравится пестрая суэта жизни, трагикомически запутанные связи людей, поток маленьких событий, которые мелькают, как пылинки в луче солнца.

Не скажу, чтобы она любила ближних, – нет, но ей нравилось рассматривать их. Иногда она ускоряла или усложняла развитие будничных драм между супругами или влюбленными, искусно возбуждая ревность одних, способствуя сближению других, – эта небезопасная игра очень увлекала ее.

– "Любовь и голод правят миром", а философия – несчастье его, говорила она. – Живут для любви, это самое главное дело жизни.

Среди наших знакомых был чиновник государственного банка: длинный, тощий, он ходил медленной и важной походкой журавля, тщательно одевался и, заботливо осматривая себя, щелчками сухих желтых пальцев сбивал никому, кроме него, не видимые пылинки со своего костюма. Оригинальная мысль, яркое слово – были враждебны ему, как-будто брезговали его языком, тяжелым и точным. Говорил он солидно, внушительно и, раньше, чем сказать что-либо всегда неоспоримое, – расправлял холодными пальцами рыжеватые редкие усы.

– С течением времени наука химии приобретает все большее значение в промышленности, обрабатывающей сырье. О женщинах совершенно справедливо сказано, что они – капризны. Между женой и любовницей нет физиологической разницы, а только – юридическая.

Я серьезно спрашивал жену:

- В силах ли ты утверждать, что все нотариусы - крылаты?

Она отвечала виновато и печально:

- О, нет, у меня не хватает сил на это, - но - я утверждаю: смешно кормить слонов яйцами в смятку.

Наш друг, послушав минуты две такой диалог, проницательно заявлял:

- Мне кажется, что вы говорите все это совершенно несерьезно!

Однажды, больно ударив колено о ножку стола, он сморщился и сказал с полным убеждением:

- Плотность - неоспоримое свойство материи.

Бывало, проводив его, приятно возбужденная, горячая и легкая, жена говорила, полулежа на коленях у меня:

- Ты посмотри, как совершенно, как законченно он глуп.

- Глуп во всем, - даже походка, жесты, - все глупо. Он мне нравится, как нечто образцовое. Погладь мои щеки.

Она любила, когда я, едва касаясь пальцами кожи лица, разглаживал чуть заметные морщинки под милыми глазами ее. И, зажмурясь, поеживаясь, точно кошка, она мурлыкала:

- Как удивительно интересны люди. Даже, когда человек не интересен для всех, - он возбуждает меня. Мне хочется заглянуть в него, как в коробочку, вдруг там хранится что-то никому не заметное, никогда не показанное, только я одна - и я первая - увижу это.

В ее поисках "никому не заметного" не было напряжения, она искала с удовольствием и любопытством ребенка, который впервые пришел в комнату, незнакомую ему. И, порою, она действительно зажигала в тусклых глазах безнадежно скучного человека острый блеск напряженной мысли, но - более часто вызывала упрямое желание обладать ею.

Она любила тело свое и, нагая, стоя перед зеркалом, восхищалась:

- Как это славно сделано, - женщина! Как все в ней гармонично!

Она говорила:

- Когда я хорошо одета, я чувствую себя более здоровой, сильной и умной!

Так и было: нарядная, она становилась веселее, остроумней, ее глаза сияли победоносно. Она умела красиво шить для себя платья из ситца, носила их, как шелк и бархат, и, одетая всегда очень просто, казалась мне одетой великолепно. Женщины восхищались ее нарядами, конечно, - не всегда искренно, но всегда очень громко, они завидовали ей, и, помню, одна из них печально сказала:

- Мое платье втрое дороже вашего и в десять раз хуже, - мне даже больно и обидно смотреть на вас.

Конечно, женщины не любили ее, разумеется, сочиняли сплетни о нас. Знакомая фельдшерица, очень красивая, но еще более - не умная, великодушно предупреждала меня:

- Эта женщина высосет из вас всю кровь!

Многому научился я около моей первой женщины. Но все-таки меня больно жгло отчаяние непримиримого различия между мною и ею.

Для меня жизнь была серьезной задачей, я слишком много видел, думал и жил в непрерывной тревоге. В душе моей нестройным хором кричали вопросы, чуждые духу

О первой любви. Максим Горький gorkiymaxim.ru
этой славной женщины.

Однажды на базаре полицейский избил благообразного старика, одноглазого еврея, за то, что еврей, будто бы, украл у торговца пучок хрена. Я встретил старика на улице; вываленный в пыли, он шел медленно, с какой-то картинной торжественностью, его большой черный глаз строго смотрел в пустознойное небо, а из разбитого рта по белой, длинной бороде тонкими струйками текла кровь, окрашивая серебро волос в яркий пурпур.

Тридцать лет тому назад было это, и я вот сейчас вижу перед собою этот взгляд, устремленный в небо с безмолвным упреком, вижу, как дрожат на лице старика серебряные иглы бровей. Не забываются оскорбления, нанесенные человеку и - да не забудутся!

Я пришел домой совершенно подавленный, искаженный тоской и злобой, такие впечатления вышвыривали меня из жизни, я становился чуждым человеком в ней, человеком, которому намеренно - для пытки его - показывают все грязное, глупое, страшное, что есть на земле, все, что может оскорбить душу. И вот в эти часы, в эти дни особенно ясно видел я, как далек от меня самый близкий мне человек.

Когда я рассказал ей об избитом еврее, она очень удивилась.

- И - поэтому ты сходишь с ума? О, какие у тебя плохие нервы!

Потом спросила:

- Ты говоришь - красивый старик? Но - как же красивый, если - он кривой?

Всякое страдание было враждебно ей, она не любила слушать рассказы о несчастиях, лирические стихи почти не трогали ее, сострадание редко вспыхивало в маленьком, веселом сердце. Ее любимыми поэтами были Беранже и Гейне, человек, который мучился - смеясь.

В ее отношении к жизни было нечто сродное вере ребенка в безграничную ловкость фокусника - все показанные фокусы интересны, - но самый интересный еще впереди. Его покажут следующий час, может быть, завтра, но - его покажут.

Я думаю, что и в минуту смерти своей она все еще надеялась увидеть этот последний, совершенно непонятный, удивительно ловкий фокус.

1 -- Вероятно - не донес бы.

1922 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!